

# Весь О. Генри

## Дверь, не знающая отдыха

Я сидел час, по солнцу, в кабинете редактора «Еженедельной Трубы» в Монтополисе.

Редактором был я.

Шафренные лучи убывающего солнечного света пробивались сквозь хлебные скирды на садовом участке Микаджа-Виддеп и бросали янтарное сияние на мой горшочек с клейстером.

Я сидел перед конторкой на невращающемся винтовом стуле и писал передовицу против олигархии. Комната с единственным окном уже делалась добычей сумерек. Моими острыми фразами я срезал, одну за другой, головы политической гидры и в то же время, полный благожелательного мира, прислушивался к колокольчикам бредущих домой коров и старался угадать, что м-с Фланаган готовит на ужин.

И вдруг из сумеречной тихой улицы появился и склонился над углом моей конторки младший брат старика Времени. Его безбородое лицо было сучковато, как английский орешник. Я никогда не видел одежды, подобной той, что

была на нем. Рядом с ним одежда Иосифа показалась бы одноцветной. Но не красильщик создал эти цвета. Пятна, заплаты, действие солнца и ржавчины были причиной их разнообразия. На его грубых сапогах ясно лежала пыль от тысячи пройденных лиг.<sup>1</sup> Я не могу дольше описывать его, но скажу еще, что он был небольшого роста, хил и стар, — так стар, что я стал считать его годы столетиями. Да, я помню еще, что чувствовался запах, едва ощутимый запах, похожий на алоэ или мирру или, возможно, на кожу, — и я подумал о музеях.

Я схватил бювар и карандаш, потому что дело не ждет, а посещения древних обитателей, — посещения почетные и священные, — должны быть занесены в хронику.

— Рад видеть вас, сэр, — сказал я. — Я хотел бы предложить вам стул, но, видите ли, — продолжал я: — я прожил в Монтополисе всего три недели и знаком с немногими из здешних граждан. — Я кинул неуверенный взгляд на его покрытые пылью сапоги и заключил газетной фразой:

— Предполагаю, что вы живете в нашей среде. Мой посетитель пошарил в своей одежде, вытащил засаленную карточку и неуверенно

---

<sup>1</sup> лига — три мили. Прим, перев.

вручил ее мне. На ней простым, но нечетким почерком было написано имя «Майкоб Адер».

— Я рад, что вы зашли, м-р Адер, — сказал я. — В качестве одного из наших старейших горожан, вы с гордостью должны смотреть на рост Монтополиса за последнее время. Среди других улучшений я, кажется, могу обещать, что город будет снабжен живой, интересной газетой.

— Знакомо вам это имя на карточке? — спросил посетитель, прервав меня.

— Нет, мне не приходилось его слышать.

Снова он поискал в своей древней одежде. На этот раз он вытащил вырванный из какой-то книги листок, потемневший и тонкий от времени. На верху страницы стояло название «Турецкий Шпион», старомодным шрифтом. Напечатано было следующее:

«В 1643 году в Париж является человек, который утверждает, что жил все эти шестнадцать веков. Он рассказывает про себя, что был сапожником в Иерусалиме во время распятия. Что имя его Майкоб Адер и что, когда Иисус, мессия христиан, был осужден Понтием Пилатом, римским наместником, он, неся крест к месту распятия, остановился отдохнуть у дверей дома Майкоба Адера. Сапожник ударил Иисуса кулаком, сказав: „Иди, чего ты мешкаешь?“ На что мессия ответил ему: „Я уйду, но ты будешь

ждать, пока я не приду“.

Этим он обрек его жить до судного дня. Он живет вечно, но в конце каждого столетия с ним случается припадок или транс, после чего к нему возвращается возраст, в каком он был во время страданий Христа, а было ему тогда около тридцати лет. Такова история Майкоба Адера — Вечного Жида, который говорит...»

Здесь рукопись обрывалась.

Я, должно-быть, что-нибудь громко произнес насчет Вечного Жида, потому что старик заговорил громко и с горечью.

— Это ложь, — сказал он, — как девять десятых того, что называется историей. Я — язычник, а не еврей. Я пришел пешком из Иерусалима, сын мой. Но если это делает меня евреем, тогда все, что выливается из бутылки, — детское молоко. Мое имя — на карточке, которая у вас в руках. Вы прочли также кусок газеты, называемой «Дурацкий Шпион», которая напечатала это известие, когда я вошел в ее редакцию в 19-й день июня в 1643 году. Это произошло почти так же, как я посетил вас сегодня.

Я положил карандаш и бювар. Ясно, что из этого ничего не выйдет. Могло бы выйти кое-что для столбца местных известий в «Трубе». Но такой материал не подойдет. Однако отрывки

мыслей, касающихся этой невероятной «личности», стали пробегать по моему специфическому мозгу. «У дяди Майкоба такие же проворные ноги, как у юноши тысячи лет или около того»... «Наш великий посетитель рассказывает, что Георг Вашинг... нет, Птоломей Великий качал его на коленях в доме его отца». «Дядя Майкоб говорит, что наша сырая весна ничто в сравнении с сыростью, которая погубила урожай вокруг горы Арарат, когда он был мальчиком». Но нет, нет, из этого ничего не выйдет.

Я старался найти тему разговора, которая могла бы заинтересовать моего посетителя, и колебался между состязанием в ходьбе и плиоценовым периодом, как вдруг старик начал горько и мучительно плакать.

— Ободритесь, м-р Адер, — сказал я, несколько смущенный. — Все это может выясниться через несколько сот лет. Уже наступила явная реакция в пользу Иуды Искарота, полковника Берра и известного скрипача Нерона. Наше время — время обеления. Вам не следует падать духом...

Сам того не сознавая, я затронул в нем слабую струну. Старик воинственно сверкнул глазами сквозь старческие слезы.

— Пора, — сказал он, — чтобы лжецы

кой-кому воздали должное. Ваши историки-то же самое, что кучка старух, болтающих на паперти храмов. Из людей, носивших сандалии, не было человека лучше императора Нерона. Я был при пожаре Рима. Я хорошо знал императора, так как в те времена был известным лицом. Тогда почитали человека, который живет вечно. Но я хотел рассказать вам об императоре Нероне. Я вошел в Рим по Аппиевой дороге ночью июля 16 года 64. Я только что прибыл в Италию через Сибирь и Афганистан; одна нога у меня была отморожена, а на другой был пузырь от ожога песками пустыни. Я чувствовал себя довольно скверно, неся обязанности патруля от Северного полюса до крайней точки Патагонии, и в придачу неправильно считаясь евреем. Так вот, я проходил мимо цирка. Дорога была темная, как деготь. Вдруг слышу, кто-то кричит: «Это ты, Майкоб?»

Прислонившись к стене, спрятанный между старых ящиков из-под мануфактуры, стоял император Нерон в тоге, обернутой вокруг ног, и курил длинную черную сигару.

«— Хочешь сигару, Майкоб?»\* сказал он.

„— Это зелье не для меня, — говорю я. — Ни трубка, ни сигара! Какая польза от курения, если нет и тени возможности убить себя этим?“

„— Правильно, Майкоб Адер, мой

постоянный жид, — сказал император, — ты всегда путешествуешь. Верно, что опасность, а также и запрещение придают вкус нашим удовольствиям“. „- Почему же, — говорю я, — вы курите ночью в темных местах, и вас не сопровождает хотя бы центурион в гражданском платье?“

„— Слышал ты когда-нибудь, Майкоб, — говорит император, — о предопределении?“

„— Я больше знаю о нашем хождении, — ответил я, — это вам хорошо известно“. — Это говорит мой друг Нерон, — учение новой секты людей, которых зовут христиане; они ответственны за то, что я курю по ночам в потемках в разных дырах и углах». «Тогда я сажусь, снимаю пару сапог и тру отмороженную ногу, а император рассказывает мне. По-видимому, с тех пор, как я раньше проходил по этой дороге, император потребовал развода у императрицы, а миссис Поппея, знаменитая лэди, была приглашена, без рекомендаций, во дворец.

В один день, — говорит император, — она вешает чистые занавесы во дворце и записывается в противотабачный кружок. И когда я чувствую потребность покурить, я должен прокрадываться в потемках к кучам этого хлама».

«И так мы продолжали сидеть, император и я, и я рассказывал ему о моих странствиях. И когда утверждают, что император был поджигателем, то лгут. В эту ночь начался пожар, который уничтожил Рим. По моему мнению, он начался от окурка сигары, который император бросил между ящиками. Ложь также и то, что он в это время играл на скрипке. Он шесть дней делал все возможное для того, чтобы остановить пожар, сэр».

Теперь я обнаружил новый запах у мистера Майкоба Адера. Я обонял не мирру, не бальзам или иссоп. Нет, — эманация была запахом скверного виски и — что было еще хуже! — душком комедии того сорта, какую мелкие юмористы публикуют, одевая серьезную и почтенную сущность легенды и истории в вульгарную мещанскую ветошь, сходящую за некоторый род остроумия.

Я мог переносить Майкоба Адера, как самозванца, выдающего себя за тысячадевятисотлетнего старика и играющего свою роль с приличием респектабельного умопомешательства. Но в роли шутника, понижающего ценность своей замечательной истории легкомыслием водевилиста, его значение уменьшалось.

Вдруг, как бы угадав мои мысли, он



переменил тон.

— Простите, меня, сэра, — захныкал он:— у меня иногда путается в голове; я очень стар и не могу все запомнить...

Я понимал, что он прав, и что мне не следует пытаться примирить его с римской историей; поэтому я начал расспрашивать его о других древних личностях, с которыми он был близок в своих странствованиях.

Над моей конторкой висела гравюра, изображавшая рафаэлевских херувимов. Еще можно было различить их формы, хотя пыль причудливыми пятнами изменяла их контуры.

— Вы называете их херувимами, — прокудахтал старик, — вы представляете их себе с крыльями, в виде детей. А есть еще другой херувимчик, на ногах, с луком и стрелами, которого вы зовете «Купидон». Я знаю, где их нашли. Их пра-пра-прадед был козел. Как редактор, сэра, вы, вероятно, знаете, где стоял Соломонов храм.

Мне казалось, что в... в Персии. Впрочем, я не знал наверно.

— Ни в истории, ни в библии не сказано, где он стоял. Первые изображения херувимов и купидонов были высечены на его стенах и колоннах. Два самых больших, сэра, находились в самой священной части храма, поддерживая

балдахин над ковчегом, Но вместо крыльев, у них были рога, а лица были козлиные. Внутри и вокруг храма насчитывалось десять тысяч козлов. Ваши херувимы были козлами во времена Соломона, но живописцы ошибочно переделывали рога в крылья. Я также очень хорошо знал Тамерлана, хромого Тимура. Это был небольшой человечек, не крупнее вас, с волосами цвета янтарного чубука у трубки. Он похоронен в Самарканде. Я был на похоронах, сэр. О, в гробу это был прекрасно сложенный человек, длиною в шесть футов, с черными баками. Я помню также, как в Африке бросали репами в императора Веспасиана.

Я исходил весь свет, сэр, без малейшего намека на отдых. Так мне было приказано! Я видел разрушение Иерусалима и гибель Помпеи при извержении. Я был на коронации Карла Великого и на линчевании Жанны д'Арк... И куда бы я ни пошел, везде начинались бури и революции, эпидемии и пожары. Так было приказано. Вы слышали о Вечном Жиде? Все верно, за исключением того, что я еврей. Но история лжет, как я уже говорил вам. Уверены ли вы, сэр, что у вас нет капельки виски? Вы хорошо знаете, что мне предстоит еще много миль дороги.

— У меня нет никакого виски, — сказал

я, — и, извините, я собираюсь ужинать. Этот древний бездельник становился сущим наказанием. Он вытряхнул затхлые испарения из своей древней одежды, опрокинул чернильницу и продолжал нести свою нестерпимую околесицу.

— Я не обращал бы на это внимания, — жаловался он, — если бы не работа, которую я должен исполнять в страстную пятницу. Вы, сэр, конечно, знаете, про Понтия Пилата. Когда он покончил с собой, тело его было выброшено в озеро на Альпийских горах. Теперь послушайте, какую работу я должен исполнять каждую страстную пятницу. Старый дьявол спускается в озеро и вытаскивает Пилата, а вода кипит и брызжет, как в кипятельном котле. Старый дьявол сажает тело на трон на скалах, и тут-то начинается мое дело.

О, сэр, вы пожалели бы меня! Помолились бы за Вечного Жида, который никогда не был жидом, если бы видали весь ужас того, что я должен делать. Я должен принести чашу с водой и стоять перед ним на коленях, пока он моет руки. Заявляю вам, что Понтий Пилат — человек, умерший двести лет назад, вытщенный вместе с покрывающей его тиной, без глаз и с рыбами, вьющимися внутри его, и с разлагающимся телом, сидит на троне, сэр, и

моет руки в чаше, которую я держу пред ним каждую страстную пятницу. Так было приказано!

Ясно, что сюжет далеко вышел из рамок столбца местных происшествий в «Трубе». Может быть, здесь бы нашел работу врач по душевным болезням или же человек, который вербует членов в общество трезвости, но с меня было достаточно: я встал и повторил, что должен уйти.

При этих словах он схватил меня за сюртук, заползал по конторке и снова разразился безутешными рыданиями. «В чем бы ни заключалось его горе, — подумал я, — оно должно быть искренним».

— Ну, м-р Адер, — сказал я успокаивающим тоном: - в чем же дело?

Он ответил прерывающимся голосом, сквозь мучительные рыдания:

— Потому только, что я не хотел дать бедному Христу отдохнуть на ступенях.

На его галлюцинацию, по-видимому, не могло быть разумного ответа, однако действие ее на него вряд ли заслуживало презрения. Но, не зная ничего, что могло бы облегчить страдания старца, я снова сказал, что обоим нам надо уходить из конторы.

Послушавшись, он поднялся наконец с

моей конторки и позволил мне, полуприподняв, поставить его на пол. Исступление горя лишило его языка; свежесть слез отмочила кору горя. Память умерла в нем, по крайней мере, ее связная часть. — Я сделал это, — бормотал он, когда я вел его к двери, — я — сапожник из Иерусалима. Я вывел его на тротуар и при более сильном свете увидел, что лицо его иссушено, морщинисто и искажено печалью, которая не могла быть результатом одной лишь жизни. И вдруг в темном небе мы услышали резкий крик каких-то больших пролетающих птиц. Мой Вечный Жид поднял руку, наклонив при этом голову в сторону.

— Семь Свистунов, — сказал он, как бы представляя давнишних друзей.

— Дикае гуси, — ответил я, но признаюсь, что определить их число было выше моих сил.

— Они всюду следуют за мной, — сказал он. — Так было приказано! То, что вы слышите, — души семи евреев, помогавших при распятии. Иногда они бывают куликами, иногда гусями, но вы всегда увидите их летящими туда, куда я иду.

Я стоял, не зная, как распрощаться. Я посмотрел вниз по улице, переступил с ноги на ногу, снова оглянулся и почувствовал, что волосы мои становятся дыбом. Старик пропал.

Вскоре волосы мои опустились, — я смутно видел, как он удалялся в потемках. Но шел он так быстро и беззвучно, походкой настолько не соответствующей его возрасту, что спокойствие мое было не совсем восстановлено, хотя я и не знал, почему. В тот вечер я был так безрассуден, что снял со своих скромных полок несколько покрытых пылью книг. Я тщетно искал «Hermippus Redivvus», и «Salathiel», и «Pepis Collection». А затем в книге, озаглавленной «Гражданин Мира», и в другой, вышедшей двести лет назад, я напал на то, что искал.

Майкоб Адер, действительно, посетил Париж в 1643 году и рассказал «Турецкому Шпиону» необыкновенную историю. Он претендовал на то, что он Вечный Жид, и что...

Тут я заснул, так как мои редакторские обязанности в этот день были не легки.

Судья Хувер был кандидатом «Трубы» в члены конгресса. Имея надобность переговорить с ним, я зашел к нему рано на следующий день. Мы пошли вместе в город по маленькой улочке, которой я не знал.

— Слыхали вы когда-нибудь о Майкобе Адере? — спросил я его, улыбаясь.

— Да, конечно, — ответил судья:— кстати, это напомнило мне о башмаках, находящихся у него в починке. Вот его лавчонка!

Судья Хувер зашел в грязную маленькую лавчонку. Я посмотрел на вывеску и увидел на ней надпись: «Майк О'Бадер, сапожный и башмачный мастер». Несколько диких гусей с резким криком пролетело в вышине. Я почесал за ухом и нахмурился, а затем вошел в лавку.

Мой Вечный Жид сидел на табурете и тачал подметки. Он был вымочен росой, запачкан травой, нечесан и жалок, и на лице его все еще виднелась необъяснимая горечь, проблематичная печаль и эзотерическая скорбь, которая, казалось, могла быть написана только пером веков.

Судья Хувер вежливо спросил о своих ботинках. Старый сапожник поднял глаза и отвечал довольно здраво. Он несколько дней был болен, сказал он. Завтра ботинки будут готовы. Он посмотрел на меня, и я заметил, что не оставил следа в его памяти. Мы вышли и направились своей дорогой.

— У старого Майка, — сказал кандидат, — опять был припадок запоя. Он регулярно каждый месяц напивается до бесчувствия, но он хороший сапожник.

— Его история? — спросил я.

— Виски, — коротко ответил судья Хувер. — Это объясняет все.

Я смолчал, но не удовольствовался этим

объяснением. Когда представился случай, я спросил о нем старика Селлерса, который жил у меня на хлебах.

— Майк О'Бадер уже шил башмаки в Монтополисе, когда я приехал сюда пятнадцать лет назад. Я догадываюсь, что горе его от виски. Раз в месяц он сбивается с пути и остается в таком виде неделю. Он воображает, что был еврейским разносчиком и всем об этом рассказывает. Никто не хочет его больше слушать. Когда же трезв — он не дурак. У него много книг в комнатке за лавкой, и он читает их. Я думаю, что все его горе в виски. Но я не был удовлетворен. Мой Вечный Жид все еще не был верно сконструирован для меня. Я нахожу, что женщинам не следует выдавать монополию на все любопытство в мире. И когда самый старый обитатель Монтополиса (на девяносто двадцаток лет моложе Майкоба Адера) зашел ко мне по газетному делу, я направил его непрерывную струю воспоминаний в сторону неразгаданного башмачника. Дядя Эбнер был всеобщей историей Монтополиса, переплетенной в коленкор. — О'Бадер, — задрезжал он, — явился сюда в 69 году. Он был первым здешним сапожником. Его теперь считают временно помешанным. Но он никому не вредит. Я думаю, что пьянство повлияло на его мозг. Скверная



штука — пьянство. Я очень старый человек, сэр, и никогда не видел добра от пьянства.

— Не было ли у Майка О'Бадера какой-нибудь горестной потери или несчастья? — спросил я.

— Подождите. Тридцать лет назад было что-то в этом роде. Монтополис, сэр, в то время был очень строгим городом. У Майка О'Бадера тогда была дочь, очень красивая девушка. Она была слишком веселого нрава для Монтополиса, поэтому в один прекрасный день она ушла в другой город, вернее, сбежала с цирком. Через два года она вернулась навестить Майка, разодетая, в кольцах и драгоценностях. Он не хотел ее знать, и она временно поселилась где-то в городе. Думаю, что мужчины ничего бы на это не возразили, но женщины взялись за то, чтобы мужчины выселили девушку.

И вот однажды ночью решили выгнать ее. Толпа мужчин и женщин выставила ее из дома и погналась за ней с палками и камнями. Она побежала к дому своего отца и умоляла о помощи. Майк отворил, но когда увидел, кто это, то ударом кулака бросил ее на землю захлопнул дверь.

Толпа продолжала травить ее, пока она не выбежала совсем за город. А на следующий день ее нашли утопившейся в пруду у Хенторовской

мельницы.

Я откинулся на спинку моего невертящегося винтового стула и, точно мандарин, ласково кивнул головой моему горшочку с клейстером.

— Когда у Майка запой, — продолжал дядя Эбнер, разболтавшись, — он воображает себя Вечным Жидом.

— Он и есть Вечный Жид, — сказал я, продолжая кивать головой.

## Багдадская птица

Без всякого сомнения, дух и гений калифа Гаруна аль-Рашида осенил маркграфа Августа-Михаила фон Паульсена Квигга.

Ресторан Квигга находится на Четвертой авеню — на улице, которую город как будто позабыл в своем росте. Четвертая авеню, рожденная и воспитанная в Бауэри, смело устремляется на север, полная благих намерений.

Там, где она пересекает Четырнадцатую улицу, она с важностью величается одно короткое мгновение в блеске музеев и дешевых театров. Она могла бы, начиная отсюда, стать равной своему высокорожденному брату бульвару, который тянется отсюда на запад, или своему шумному, многоязычному, широкогрудому кузену на востоке. Она проходит через Юнион-сквер, и здесь копыта ломовых лошадей топчут ее в унисон, вызывая в памяти топот марширующей толпы. Но вот подступают молчаливые и грозные горы — здания, широкие, как крепости, высокие до облаков, закрывающие небо, дома, в которых тысячи рабов проводят целые дни, склонившись над своими конторками. В нижних этажах помещаются только маленькие фруктовые лавки, прачечные и лавки букинистов. А затем бедная Четвертая

авеню впадает в одиночество Средневековья. С каждой стороны ее обступают лавки, посвященные «антикам».

Ночь. Люди в ржавых доспехах стоят в окнах и грозят кулаками в ржавых железных рукавицах торопливым автомобилям. Панцири и шлемы, мушкеты кромвелевских времен, нагрудники, кремневые ружья, мечи и кинжалы целой армии давно отошедших храбрецов таинственно блестят в бледном, нездешнем свете. Время от времени из ярко освещенного углового бара выходит гражданин, возбужденный возлияниями, и робко ступает на древнюю улицу, ощетинившуюся окровавленным оружием воинственных мертвецов. Какая улица может жить в окаймлении этих смертных реликвий и попираемая этими призрачными пьянчужками, в упавших сердцах которых замерла уже последняя нота кабацкого «тра-ля-ля»?...

Четвертая авеню не может. Даже после мишурного, но возбуждающего блеска Литл-Риальто, даже после оглушительных барабанов Юнион-сквера. Нечего тут проливать слезы, леди и джентльмены: это только самоубийство улицы. С визгом и скрежетом Четвертая авеню ныряет головой вниз в туннель у пересечения с Тридцать четвертой — и больше

уже никто ее не видел...

Скромный ресторан Квигга стоял поблизости от этого печального зрелища гибнущей улицы. Он стоит там и по сей час, и если вы хотите полюбоваться его обваливающимся краснокирпичным фасадом, его витриной, набитой апельсинами, томатами, кексами, спаржей в банках, его омаром из папье-маше и двумя живыми мальтийскими кошечками, спящими на пучке латука; если вы хотите посидеть за одним из его маленьких столиков, покрытым скатертью, на которой желтейшими из кофейных пятен обозначен путь грядущего нашествия на нас японцев, — посидеть, не спуская одного вашего глаза с вашего зонтика, а другой уперев в подложную бутылку, из которой вы потом накапаете себе поддельной сои, которой нас награждает проклятый шарлатан, выдающий себя за нашего милого старого господина и друга «индийского дворянина», — идите к Квиггу.

Титул свой Квигг получил через мать. Одна из ее прабабок была маркграфиней саксонской. Его отец был молодцом из тамманийской шайки. Квигг учел раздвоение своей наследственности и понял, что никогда не сможет стать ни владетельным герцогом, ни получить должность по городскому самоуправлению. И он решил

открыть ресторан. Это был человек мыслящий и начитанный. Дело давало ему возможность жить, хотя он и мало интересовался делами. Одна часть его предков одарила его натурой поэтической и романтической, другая завещала ему беспокойный дух, толкавший его на поиски приключений. Днем он был Квиigg-ресторатор. Ночью он был маркграф, калиф, цыганский барон. И ночью он бродил по городу в чаянии странного, таинственного, необъяснимого, темного.

Однажды вечером, в девять часов, когда ресторан закрылся, Квиigg выступил в свой ночной поход. Когда он наглухо застегивал свое пальто, он являл с своей коротко подстриженной, темной с проседью бородой смесь чего-то иностранного, военного и артистического. Он взял курс на запад, по направлению к центральным и оживленным артериям города. В кармане у него был целый ассортимент надписанных визитных карточек, без которых он никогда не выходил на улицу. Каждая из этих карточек представляла собою чек из его ресторана. Некоторые давали право на бесплатную тарелку супа или на кофе с бутербродом, другие давали предъявителю право на один, два, три и больше обедов, третьи на то или другое отдельное блюдо из меню.

Некоторые — их было немного — являлись талонами на пансион в течение целой недели.

Богатством и могуществом маркиграф Кви́гг не обладал, но у него было сердце калифа: быть может, некоторые золотые монеты, розданные в Багдаде на базаре, распространили среди несчастных меньше тепла и надежды, чем кви́ггово бычачье рагу между рыбаками и одноглазыми коробейниками Манхеттена.

Продолжая свой путь в поисках романтического приключения, которое развлекло бы его, или бедствия, в котором он мог бы оказать помощь, Кви́гг увидел на углу Бродвея и пересекающего его бульвара толпу. Толпа быстро росла, люди галдели и дрались. Он поспешил подойти поближе и увидел в центре молодого человека, в высшей степени меланхолической наружности, спокойно и сосредоточенно достававшего из своего кармана серебряную мелочь и посыпавшего ею мостовую. Каждое движение руки щедрого молодого человека сопровождалось радостным ревом толпы, сейчас же устремлявшейся на добычу. Уличное движение приостановилось. Полисмен в центре толпы, ежеминутно наклоняясь к земле, убеждал толпу разойтись.

Маркиграф сразу понял, что его интерес к отклонениям человеческого сердца в сторону

ненормального найдет себе здесь пищу. Он быстро пробился к молодому человеку и взял его под руку.

— Идите сейчас же со мной, — сказал он тихим, но повелительным голосом, которого так боялись его лакеи.

— Испекся, — сказал молодой человек, глядя на него ничего не выражающими глазами. — Попал в руки к дантисту, вырывающему зубы без боли. Ну, ведите меня куда надо. Некоторые кладут яйца, а некоторые не кладут. Когда курица?...

Все еще глубоко подавленный каким-то внутренним потрясением, но сговорчивый, молодой человек дал себя увести. Квигг привел его в маленький сквер и усадил на скамейке.

Осененный уголком плаща великого калифа, Квигг заговорил с мягкостью и осторожностью. Он пробовал узнать, какая беда стряслась с молодым человеком, расстроила его дух и толкнула его на столь легкомысленное и разорительное расточение его добра и имущества.

— Я изображал Монте-Кристо, правда? — спросил молодой человек.

— Вы швыряли на мостовую мелочь, — сказал калиф, — чтобы толпа ползала за ней на коленях.



— Вот именно. Сначала пьешь пиво, сколько можешь влить в себя, а потом начинаешь кормить цыплят... Прокляты они будь — цыплята, куры, перья, вертела, яйца и все, что к ним относится.

— Молодой человек, — сказал маркграф мягко, но с достоинством. — Я не говорю вам: будьте со мной откровенны, я только приглашаю вас к откровенности. Я знаю свет и знаю людей. Человек — предмет моего изучения, хотя я и не смотрю на него, подобно ученому, как на насекомое, или, подобно филантропу, — как на объект для приложения своих деяний. Между мною и человеком нет дымки теории и невежества. Я интересуюсь особыми и сложными неудачами, в которые ввергает моего брата, человека, жизнь в большом городе. Это изучение доставляет мне развлечение и радость. Вам, может быть, известна история славного и бессмертного правителя, калифа Гаруна аль-Рашида, чьи мудрые и благодетельные экскурсии в жизнь его народа в Багдаде дали ему счастливую возможность исцелить столько ран? Я смиренно шествую по его стопам. Я ищу романтику и приключения не в руинах замков и не в развалинах дворцов, а на улицах города. Величайшие чудеса магии, с моей точки зрения, разворачиваются в человеческом сердце,

вызываемые свирепыми и противоречивыми силами скученного в городе множества. В вашем странном сегодняшнем поведении мне чудится роман. Ваш поступок представляется мне чем-то более глубоким, чем безобразничанием обыкновенного мота. Я замечаю на вашем лице черты, свидетельствующие о снедающем вас горе и даже отчаянии. Повторяю: я приглашаю вас к откровенности. Я не лишен некоторой возможности облегчить или посоветовать. Хотите довериться мне?

— А вы здорово говорите, — воскликнул молодой человек, и туманная печаль в его глазах сменилась на мгновение блеском восхищения. — Вы прямо свели всю Асторовскую библиотеку в содержание предшествующих глав. Я знаю этого старого турка, про которого вы говорите. Я читал и «Арабские ночи», когда я был ребенком. Слушайте: вы можете взмахнуть волшебной кухонной тряпкой и вызвать из бутылки гиганта? Только, пожалуйста, чтобы он не хватал меня за ноги. Для моего случая такое лечение не годится.

— Я хотел бы выслушать вашу историю, — сказал маркграф со своей важной, серьезной улыбкой.

— Я расскажу вам ее в девяти словах, — сказал молодой человек с глубоким вздохом. — Но я не думаю, чтоб вы хоть сколько-нибудь

могли помочь мне. Разве только, что вы можете слетать за разгадкой, на вашем волшебном линолеуме, на Босфор.

## Брильянт богини Кали

Первоначальная статья, касающаяся брильянтов богини Кали, была вручена заведующему отделом городской хроники. Он улыбнулся и подержал ее мгновение над корзиной для мусора. Затем, положив статью обратно на письменный стол, он сказал:

— Попробуйте поговорить с сотрудниками воскресного приложения; они, может — быть, и сделают что-нибудь из этого.

Воскресный редактор рассмотрел статью и промычал:

— Гм!

Затем он послал за репортером и преподал ему пространные указания.

— Вы можете побывать у генерала Людло, — сказал он, — и составить из этого рассказ. Истории о брильянтах вообще — дрянь, но этот достаточно крупен, чтобы его нашла уборщица завернутым в газету под угол линолеума и засунутым в сени.

Прежде всего узнайте, нет ли у генерала дочери, которая собиралась бы поступить на сцену. Если нет, то можете писать рассказ. Поместите выписки о Кохиноре и о коллекции Д. П. Моргана и всуньте картинки Кимберлэйских рудников и Барней Барнато.

Дополните сравнительной таблицей стоимости брильянтов, радия и телячьих котлет со времени мясной забастовки, и пусть все это займет полстраницы.

На следующий день репортер принес свой рассказ. Воскресный редактор пробежал глазами по строкам.

— Гм! — снова сделал он.

На этот раз рукопись почти без колебаний отправилась в мусорную корзину.

У репортера немного сжались губы, но, когда я часом позже пришел поговорить с ним об этом, он посвистывал не громко, но с довольным видом.

— Я не сержусь на старика, — сказал он великодушно. — Не сержусь за то, что он выбросил мою статью. Действительно, она могла показаться странной. Но случилось именно так, как я написал. Послушайте, отчего бы вам не выудить рассказа из корзины и не пустить его в дело? Он не хуже всей той чепухи, которую вы пишете.

Я принял комплимент. Если вы станете читать дальше, то познакомитесь с фактами, касающимися брильянта богини Кали, за верность которых ручается один из самых надежных репортеров.

Генерал Марцелус Б. Людло живет в одном

из разрушающихся почтенных старых домов из красного кирпича на одной из двадцатых улиц Запада.

Генерал — член одной старой нью-йоркской семьи, которая к рекламам не прибегает. Он — путешественник по рождению, джентльмен по вкусам, миллионер по милости неба и знаток драгоценных камней по роду занятий.

Репортер был принят немедленно, как только явился к генералу в дом, около восьми часов тридцати минут вечера, в день получения предписания. В роскошной библиотеке его приветствовал просвещенный путешественник и знаток — высокий, стройный джентльмен, лет немногим больше пятидесяти, с почти белыми усами и такой военной выправкой, что в нем едва ли можно было найти след национального гвардейца.

Его обветренное лицо осветилось чарующей улыбкой и выражением интереса, когда репортер познакомил его с целью своего прихода.

— А, вы слышали о моей последней находке? Я рад показать вам камень, который считаю одним из шести существующих на земле наиболее ценных голубых брильянтов.

Генерал открыл в одном из углов

библиотеки небольшой сейф и вынул из него оклеенную плюшем коробку. Открыв ее, он выставил изумленному взгляду репортера громадный сверкающий брильянт, величиной приблизительно с крупную градину.

— Этот камень, — сказал генерал, — нечто большее, чем драгоценность. Он прежде составлял центральный глаз трехглазой богини Кали, которой поклоняется одно из наиболее свирепых и фанатичных племен Индии. Садитесь поудобнее, и я расскажу вам. для вашей газеты, краткую историю этого камня.

Генерал Людло вынул из шкафа графинчик виски и стаканы и подвинул счастливому репортеру удобное кресло.

— Фансигары, или туги, — начал генерал, — являются одной из наиболее опасных и внушающих страх сект в северной Индии. В религии они экстремисты и поклоняются ужасной богине Кали, в виде ее изображений.

Их обряды кровавы и интересны. По их странному религиозному кодексу, ограбление и убийство путешественников считается достоинством и даже обязательным поступком.

Поклонение трехглазой богине Кали производится в такой тайне, что до сих пор ни одному путешественнику не выпало чести быть свидетелем их религиозных церемоний. Эта

честь приберегалась для меня.

Будучи в Сакаранпуре, между Дели и Келатом, я исследовал джунгли во всех направлениях, чтобы узнать что-нибудь новое об этих таинственных Фансигарах. Однажды вечером, в сумерках, проходя через тиковый лес, я набрел на открытом месте на круглое углубленное пространство, посреди которого возвышался грубый каменный храм. Будучи уверен, что это один из храмов тугов, я спрятался в кустах и стал ждать.

Когда взошел месяц, углубленное пространство внезапно наполнилось сотнями призрачных, быстро скользящих фигур. В храме запахнулась дверь, открывая вид на ярко освещенный идол богини Кали, пред которым жрец в белой одежде стал произносить варварские заклинания. А в это время почитатели богини распростерлись на земле.

Больше всего заинтересовал меня средний глаз громадного деревянного идола. По ослепительному блеску я видел, что это громадный бриллиант чистейшей воды. Когда кончилось служение, туги скрылись в лес так же безмолвно, как и пришли. Жрец постоял еще несколько минут в дверях храма, наслаждаясь ночной прохладой перед тем, как закрыть свое довольно жаркое жилище. Вдруг темная, гибкая



ть скользнула в углубление, прыгнула на жреца и ударом блестящего ножа бросила его на землю. Затем убийца, точно кошка бросился к идолу богини и выковырял ножом сверкающий средний глаз Кали. Держа в руках свою королевскую добычу, он побежал прямо на меня; когда он был на расстоянии трех шагов, я вскочил и со всей силы ударил его между глаз. Он упал без чувств и выронил из рук великолепную драгоценность. Это и есть тот восхитительный голубой брильянт, который вы только что видели. Камень, достойный царского венца!

— Пикантная история, — сказал репортер: — этот графинчик точно такой же, какой обыкновенно выставляет Джон В. Гец во время интервью.

— Простите, — сказал генерал Людло, — что, увлекшись рассказом, я позабыл о правилах гостеприимства!

Наливайте себе!

— За ваше здоровье! — сказал репортер.

— Всего больше я теперь боюсь, — сказал генерал, понижая голос, — что брильянт может быть у меня украден. Драгоценность, образовавшая глаз богини, является для фансигаров самым священным предметом. Каким-то образом племя подозревает, что

брильянт — у меня, и члены этой секты следовали за мной почти что вокруг света. Это — хитрейшие и жесточайшие фанатики во всем мире, и их религиозные обеты требуют убийства неверного, осквернившего их священное сокровище.

Однажды в Лукнове три агента, переодетые слугами отеля, пытались задушить меня при помощи скрученной скатерти. В Лондоне тоже, два туга, переодетые уличными музыкантами, влезли ко мне в окно ночью и напали на меня. Жизнь моя постоянно в опасности. Месяц тому назад, когда я жил в отеле в Бергшайре, трое из них ринулись на меня из-за придорожной травы. Я спасся тогда только вследствие знания их обычаев.

— Как было дело, генерал? — спросил репортер.

— Поблизости паслась корова, — ответил генерал Людло: — славная джерсейская корова. Я подбежал к ней и остановился. Три туга тотчас прекратили атаку, стали на колени и трижды лбами ударились об землю. Затем, после многих почтительных поклонов, они ушли.

— Испугались, что корова их забодает? — спросил репортер.

— Нет, у фансигаров корова считается священным животным. Кроме богини, они

поклоняются и корове. Насколько известно, они никогда не совершали актов насилия в присутствии животного, которое почитают.

— Это чрезвычайно интересная история, — сказал репортер. — Если вы ничего не имеете против, я выпью еще стаканчик и сделаю несколько заметок.

— Я последую вашему примеру, — сказал генерал Людло, сделав галантное движение рукой.

— Если бы я был на вашем месте, — сказал репортер:— я бы увез брильянт в Техас, там бы я поселился на коровьем ранчо, и фарисеи...

— Фансигары, — поправил генерал.

— Ах, да! Они наталкивались бы на корову каждый раз, как врывались бы к вам.

Генерал Людло закрыл коробку с брильянтом и спрятал ее на груди.

— Шпионы выследили меня в Нью-Йорке, — сказал он, выпрямляя свою высокую фигуру. — Я знаком с восточно-индийской организацией и знаю, что за каждым моим движением следят. Они, без сомнения, попытаются обокрасть и убить меня здесь.

— Здесь? — воскликнул репортер, схватив графин и выливая значительное количество его содержимого.

— В любое время! — прибавил генерал. — Но, как солдат и любитель, я продам свою жизнь и брильянт как можно дороже.

В этом пункте рассказа репортера ощущается некоторая неясность. Можно только догадаться, что послышался громкий треск за домом, в котором они находились. Генерал Людло плотно застегнул сюртук и побежал к двери, но репортер крепко вцепился в него одной рукой, в то время как другой держал графинчик.

— Прежде чем бежать, — произнес он, и в голосе его почувствовалась какая-то тревога, — скажите мне, не собирается ли какая-нибудь из ваших дочерей поступить на сцену?

— У меня нет никаких дочерей! Спасайтесь скорей, фансигары нападают на нас.

И оба выбежали через парадный подъезд дома. Было поздно, когда ноги их коснулись тротуара. Странные люди, смуглые и страшные, как будто выросли из земли и окружили их. Один, с азиатскими чертами лица, близко надвинулся на генерала и закричал страшным голосом:

— Покупаю старую одежду!

Другой, мрачный и с темными баками, быстро подбежал к нему и начал жалостным голосом:

— М-р, нет ли у вас десяти пенни для

бедного человека, который?...

Они пробежали мимо, но попали в объятия черноглазого, темнобрового создания, подставившего им под нос свою шляпу. В то же время товарищ его, также восточного вида, вертел неподалеку шарманку. На двадцать шагов дальше генерал Людло и репортер очутились среди полудюжины людей, подозрительного вида, с высоко поднятыми воротниками пальто и лицами, покрытыми щетиной небритых бород.

— Бежим, — крикнул генерал. — Они открыли владельца брильянта богини Кали.

Оба помчались со всех ног. Мстители за богиню пустились за ними в погоню.

— Боже мой! — простонал репортер. — В этой части Бруклина нет ни одной коровы. Мы пропали.

Около угла оба упали на железный предмет, возвышавшийся на тротуаре, вблизи водосточного желоба. В отчаянии ухватившись за него, они ожидали решения своей судьбы.

— Если бы только у меня была корова, — стонал репортер, — или еще глоток из того графинчика, генерал.

Как только преследователи открыли убежище своей жертвы, они внезапно отступили и ушли на значительное расстояние.

— Они ждут подкрепления, чтобы напасть

на нас, — сказал генерал Людло.

Но репортер залился звонким смехом и торжествующе замахал шляпой.

— Посмотрите-ка, — закричал он, тяжело опираясь на железный предмет; — ваши фансигары или туги, как бы они ни звались, народ современный. Дорогой генерал, ведь мы с вами попали на насос. Это в Нью-Йорке то же самое, что корова. Вот почему эти бешеные черномазые парни не нападают на нас. Насос в Нью-Йорке — священное животное.

Но дальше, в тени Двадцать Восьмой улицы, мародеры собрали совет.

— Пойдем, Рэдди, — сказал один из них, — схватим старика: он целые две недели показывал брильянт, величиной с куриное яйцо, по всей Восьмой авеню.

— Не для тебя! — решил Рэдди. — Видишь, они собираются вокруг насоса. Это друзья Билля. Билль не позволит ничего подобного на своем участке!

Этим исчерпываются факты, касающиеся брильянта Кали, но считаю вполне логичным закончить следующей короткой (оплаченной) заметкой, появившейся двумя днями позже в утренней газете:

«Говорят, что племянница генерала Марцелуса Б. Людло появится на сцене в

ближайшем сезоне.

Брильянты ее оцениваются в крупную сумму и представляют исторический интерес».

## Дайте пощупать ваш пульс!

Я пошел к доктору.

— Сколько времени вы не вводили алкоголя в своей организм? — спросил он.

Повернув голову в сторону, я ответил:

— О, очень давно!

Доктор был молодой. Этак от двадцати до сорока лет. Он носил носки гелиотропового цвета, но выглядел, как Наполеон. Мне он чрезвычайно понравился.

— Теперь, — сказал он, — я покажу вам действие алкоголя на ваше кровообращение.

Он обнажил мою левую руку до локтя, вынул бутылку виски и дал мне выпить. Он стал еще более похожим на Наполеона. Мне он нравился еще больше. Затем он положил плотный компресс на верхнюю часть моей руки, пальцами остановил пульс и нажал резиновый шар, соединенный со стоявшим на подставке аппаратом, похожим на термометр. Ртуть прыгала вверх и вниз и как будто нигде не останавливалась, но доктор сказал, что она показывает двести тридцать семь или сто шестьдесят пять, или еще что-то в этом роде.

— Теперь вы видите, — сказал он, — как алкоголь действует на кровообращение?

— Поразительно, — сказал я: — но



считаете ли вы этот опыт достаточным? Не попробуем ли другую руку?

Нет, он не согласен. Затем он схватил мою руку. Я подумал, что приговорен к смерти, и что он со мной прощается. Но он хотел только воткнуть иголку в кончик моего пальца и сравнить красную каплю крови с кучей пятидесятицентовых фишек для поккера, которые он наклеил на карточку.

— Это проба на гемоглобин, — объяснил он: — у вас цвет крови не хорош.

— Ну, — сказал я, — я знаю, что она должна бы быть голубой, но это — страна помесей. Некоторые мои предки были кавалерами, но они смешивались с жителями острова Нантукет, так что...

— Я хочу сказать, — произнес он, — что красный цвет слишком бледен.

Затем доктор со строгим видом стал ударять меня в область груди. Я не знаю, кого он больше напоминал мне в это время: Наполеона, Баттлинга или лорда Нельсона? Потом он принял серьезный вид и назвал целую кучу болезней, которым подвержена человеческая плоть. Большинство болезней оканчивалось на «itis».

Я немедленно уплатил ему за них вперед пятнадцать долларов.

— Есть ли среди этих болезней одна или

две смертельных? — спросил я, думаю, что моя связь с ними оправдывает проявление некоторой доли внимания с моей стороны.

— Все! — весело ответил он: — но развитие их может быть остановлено. Если беречься, то при соответствующем постоянном лечении вы можете прожить до восьмидесяти пяти или до девяноста лет.

Я стал думать о докторском счете. «Восемьдесят пять, мне кажется, будет достаточно» размышлял я.

Я заплатил ему еще десять долларов.

— Прежде всего, — сказал он с возобновившимся оживлением: — надо найти санаторию, где вы могли бы пользоваться полным отдыхом; там ваши нервы придут в лучшее состояние. Я сам поеду с вами и выберу подходящую.

И он отвез меня в сумасшедший дом на Кеттскилсе. Дом, посещаемый редкими посетителями, стоял на голой горе. Видеть можно было только камни и валуны, несколько куч снега и разбросанные тут и там сосны. Дежурный молодой врач был очень мил. Он дал мне возбуждающее, не наложив компресса на руку. Было время завтрака, и нас пригласили разделить его. За маленькими столиками в столовой сидело около двадцати обитателей

дома. Молодой врач подошел к нашему столу и сказал:

— У нас принято, чтобы гости считали себя не пациентами, а просто утомленными леди и джентльменами, приехавшими отдохнуть. Какими бы незначительными болезнями они ни страдали, об этих болезнях никогда не упоминается в разговоре.

Мой доктор громко крикнул горничной, чтобы она подала мне к завтраку фосфоглицерит из рубленой извести, собачью галету, бромо-зельтерские блинчики и чай из нуксвомики. Вдруг раздался звук, словно внезапный бурный порыв между сосен. Звук этот сложился из произнесенного громким шопотом всеми присутствующими слова «неврастения», — за исключением одного человека с большим носом.

Этот человек ясно произнес: «Хронический алкоголизм».

Надеюсь еще встретиться с ним.

Дежурный врач повернулся и ушел.

Приблизительно через час после завтрака он повел нас в мастерскую, на расстоянии пятидесяти ярдов от дома. Туда же были отведены и гости под надзором помощника врача, и ассистента тож, — длинноногого человека в синем свитере. Он был такого

большого роста, что я не уверен, имелось ли у него лицо? Но его руки были незаменимы для упаковки.

— Здесь, — сказал дежурный врач; — наши гости отвлекаются от прежних душевных тревог, посвящая себя физической работе. Это — необходимая реакция.

Тут были токарные станки, приборы для обойщиков, столы для формовки глины, прялки, ткацкие станки, ножные приводы, турецкие барабаны, аппараты для увеличения фотографий, кузнечные горны и, по-видимому, все, что могло бы интересовать платных ненормальных пациентов первой-классной санатории.

— Дама, которая там в углу лепит пирожки из грязи, — прошептал врач, — некто иная, как Люла Лемингтон, авторша романа «Почему любовь любит?» Ее теперешнее занятие — просто отдых для ума после этого труда.

Я видел эту книгу.

— Отчего же она не отдыхает за писанием другой книги? — спросил я.

Как видите, я еще не зашел так далеко, как они воображали.

— Джентльмен, льющий воду через воронку, — продолжал дежурный врач, — маклер из Уолл-Стрита, заболевший от переутомления.

Я застегнулся.

Он показал и других: архитекторов, играющих с новыми ковчегами, министров, читающих дарвиновскую «Теорию эволюции», юристов, пиливших дрова, усталых светских дам, говоривших об Ибсене ассистенту в синем свитере, неврастеничного миллионера, спавшего на полу, и выдающегося артиста, возившего вокруг комнаты маленькую красную тележку.

— Вы, по-видимому, человек сильный, — обратился ко мне врач: — я думаю, что лучшим для вас средством от умственного переутомления было бы бросать с горы мелкие камни, а затем снова приносить их наверх.

Я уже был в ста ярдах оттуда, когда мой доктор догнал меня.

— В чем дело? — спросил он.

— Дело в том, — ответил я: — что у меня под рукой нет аэропланов. Поэтому я быстро и легко буду трусить по пешеходной тропе до станции, а там сяду в первый поезд с углем и вернусь обратно в город.

— Да, — сказал доктор, — вы, пожалуй, правы. Это едва ли подходящее место для вас. Но вам нужен покой, абсолютный отдых и движение.

В тот же вечер, вернувшись в город, я зашел в гостиницу и сказал клерку:

— Мне нужен абсолютный покой и движение. Можете вы дать мне комнату с большой складной кроватью и смену мальчиков для услуг, которые могли бы складывать и раскладывать ее, пока я сплю.

Канторщик стер чернильное пятно с ногтя одного из пальцев и бросил взгляд в сторону, на высокого человека в белой шляпе, сидевшего в передней. Человек этот подошел ко мне и вежливо спросил, видел ли я кустарники у западного входа. Так как я их не видел, то он показал их мне и затем оглянул меня.

— Я думал, что вы навеселе, — сказал он не грубо: — но вижу, что у вас все в порядке. Вам бы следовало пойти к доктору, старина.

Через неделю мой доктор снова испытывал у меня давление крови, но без предварительного возбуждающего. Он показался мне немного менее похожим на Наполеона. Носки у него были каштанового цвета, который тоже не нравился мне.

— Вам нужны, — решил он. — морской воздух и общество.

— Может быть, сирена, — спросил я, но он принял свой профессиональный вид.

— Я сам, — сказал он, — отвезу вас в отель «Бонэр» на некотором расстоянии от берега Лонг-Айлэнд и позабочусь, чтобы вы добрались

туда в хорошем виде. Это спокойное, комфортабельное место, где вы скоро выздоровеете.

Отель «Бонэр» оказался модной гостиницей в девятьсот комнат, на островке, на небольшом расстоянии от главного берега. Всякого, кто не переодевался к обеду, совали в боковую столовую и за табльдотом давали только морских черепах и шампанское.

Бухта представляла собой большое опытное поле для богатых яхтсменов. В тот день, когда мы приехали, в бухте бросил якорь «Корсар». Я видел, как м-р Морган стоял на его палубе, ел сэндвич с сыром и с завистью смотрел на отель. Все же это было очень не дорогое местечко. Никто не был в состоянии платить назначенные цены. Когда покидали отель, то просто оставляли свой багаж, выкрадывали лодку и ночью уплывали к материку.

Пробыв там один день, я взял у клерка пачку телеграфных бланков и стал телеграфировать всем своим друзьям, чтобы они прислали мне денег на выезд. Я сыграл с доктором одну партию в крокет и улегся спать на лужайке.

Когда мы возвращались в город, доктора как бы внезапно осенила мысль.

— Кстати, — спросил он: — как вы себя

чувствуете?

— Чувствую большое облегчение! — ответил я.

Врач, к которому обращаются для консультации, совсем иного типа. Он не знает наверно: будет ему уплачено, или нет, и это обеспечивает вам либо самое внимательное, либо самое невнимательное отношение.

Мой доктор повел меня к консультанту. Тот плохо угадал и был очень внимателен. Мне он понравился ужасно. Он заставил меня делать упражнения по координации движений.

— Болит у вас затылок? — спросил он. Я ответил, что не болит.

— Закройте глаза, — приказал он, — плотно сдвиньте ноги и прыгайте назад, как можно дальше.

Я всегда хорошо прыгал назад с завязанными глазами, поэтому легко исполнил приказание. Голова моя ударилась об угол двери в ванную комнату, которая была оставлена отворенной и находилась на расстоянии всего трех футов. Доктор очень сожалел об этом. Он не заметил, как дверь открылась. Он закрыл ее.

— Теперь дотроньтесь правым указательным пальцем до носа, — сказал он.

— Где он? — спросил я.

— На вашем лице, — ответил он.



— Я спрашиваю про правый указательный! — объяснил я.

— Извините, пожалуйста, — сказал он.

Он снова отворил дверь в ванную комнату, и я вынул палец из дверной щели.

Проделав удивительный персто-носовой фокус, я сказал:

— Я не могу обманывать вас относительно симптомов, доктор. Я, действительно, чувствую что-то в роде боли в затылке. Он не обратил внимания на этот симптом и внимательно исследовал мое сердце слуховой трубкой, за один пенни играющей последние популярные арии. Я чувствовал себя, как гитара.

— Теперь, — сказал он, — скачите, как лошадь, вокруг комнаты в течение пяти минут.

Я, как мог лучше, изобразил забракованного першерона, выводимого из Мэдисон-сквера.

Затем, не бросив в трубку пенни, доктор снова стал выслушивать меня.

— В нашей семье не было сапа! — сказал я.

Консультант поднял палец и держал его на расстоянии дюйма от моего носа.

— Смотрите на мой палец! — скомандовал он.

— Пробовали вы когда-нибудь мыло Пирса?... — начал я. но он быстро продолжал

свое исследование.

— Теперь смотрите в оконный пролет! На мой палец! В окно! На мой палец! В окно! На мой палец! В окно!

Так продолжалось три минуты. Он объяснил, что это исследование деятельности мозга.

Мне оно показалось очень легким. Я ни разу не принял его пальца за оконный пролет.

Готов побиться об заклад, что если бы он употреблял фразы: «Смотрите, так сказать, отбросив заботы, вперед — или вернее в бок — по направлению к горизонту, подпертому, так сказать, вставкой прилегающего флюида, или возвращая теперь, или, скорее, отклоняя ваше внимание, сосредоточьте его на моем поднятом персте», — бьюсь об заклад, что сам Харри Джемс в таком случае не выдержал бы экзамена!

Спросив меня затем, не было ли у меня двоюродного деда с искривлением спинного хребта и троюродного брата с опухолью лодыжек, оба доктора ушли в ванную комнату и сели на край ванны для консультации. Я съел яблоко и посмотрел сперва на свой палец, а потом в окно.

Доктора вышли с серьезным видом — более того! — они были похожи на надгробные памятники или на любительское издание актов

штата Теннесси. Они составили расписание диеты, которой я должен был подвергнуться. Согласно ей, мне предписывалось есть все то, о чем я когда-либо слышал, за исключением улиток.

— Вы должны строго следовать этой диете, — сказали доктора.

— Я последую за ней целую милю, если только смогу достать все то, что здесь написано.

— Еще важно, — продолжали они, — быть на открытом воздухе, в движении. А вот рецепт, который принесет вам большую пользу.

Затем каждый из нас что-нибудь унес. Они — свои шляпы, а я — ноги.

Я пошел к аптекарю и показал ему рецепт.

— Это будет стоить два доллара 87 центов за бутылочку в унцию.

— Не дадите ли вы мне кусочек бечевки, которой вы завязываете пакеты? — спросил я.

Я просверлил в рецепте дырку, продел в дырку веревку и повесил рецепт себе на шею, под рубашку. У всех нас есть суеверия. Мое заключается в вере в амулеты.

Разумеется, у меня не было никакой опасной болезни, но, тем не менее, я был очень болен. Я не мог работать, спать, есть или играть на бильярде. Единственным способом возбудить некоторое сочувствие было не бриться в течение

четырёх дней. Даже и тогда кто-нибудь говорил:

— Ну, старина, вы кажетесь крепким, как сосновый сук. Погуляли в Мэнских лесах, а?

Вдруг я вспомнил, что мне нужен открытый воздух и движение.

Я поехал на Юг, к Джону. Джон — это что-то в роде родственника. У него — дача в семи милях от Пайнвилля. Эта дача находится на высоте и на самом кряже Синих гор, в штате слишком почтенном, чтобы вмешивать его в эту полемику. Джон встретил меня в Пайнвилле, на зубчатой дороге, и мы отправились к его дому.

Это был большой коттедж, стоявший на холме, окруженном сотнями гор. Мы вышли на его собственной частной платформе, где семья Джона и Амарилис встретили и приветствовали нас. Амарилис немного испуганно глядела на меня.

Кролик пробежал по холму между домом и нами. Я бросил картонку с платьем и бегом бросился за ним. Пробежав около двадцати ярдов и увидев, что он исчез, я сел на траву и стал безутешно плакать.

— Я не в состоянии больше поймать кролика, — рыдал я: — я более ни на что не годен. Уж лучше бы мне умереть! — Что это? Что с ним, Джон? — услышал я вопрос Амарилис.

— Нервы немного расшатаны, — ответил

Джон спокойно. — Не волнуйся! Вставай, охотник за кроликами, и иди в дом, пока бисквиты не остыли.

Наступали сумерки, и горы благородно походили на описание, сделанное миссис Мерфи. Вскоре после обеда я объявил, что мог бы спать год или два, включая установленные праздники. Меня отвели в комнату, большую и прохладную, как цветник, в которой стояла кровать, широкая, как лужайка. Вскоре и все остальные пошли спать, и кругом воцарилась тишина. Я целые годы не слышал подобной тишины. Она была абсолютна. Я поднялся на локте и прислушивался к ней. Спать? Мне казалось, что, если бы я только услышал, как мерцает звездочка, и как завастривается травинка, я мог бы довести себя до сна. Однажды мне послышался звук, точно при повороте грузовой шхуны забился парус по ветру, но я решил, что это, вероятно, только шевелится ковер. Я все-таки продолжал слушать.

Вдруг какая-то запоздалая пичужка вспорхнула на подоконник, и голосом, который ей, вероятно, казался сонным, издала звук, обыкновенно переводимый словами «чирик».

Я подпрыгнул в воздух.

— Эй, что случилось? — крикнул Джон из своей комнаты, расположенной над моей.